Наталья Шор

**С именем Бога - все для людей**

Действующие лица:

Екатерина Михайловна Бакунина, сестра милосердия

Дознаватель

***Слышится некое бормотание. Потом начинают различаться отдельные слова. Затем отчетливо слышен голос Дознавателя. В тусклом свете виден его силуэт. Дознаватель читает газету.***

**Дознаватель.** «На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка. Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез. Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним. Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает. Да и к чему? Жертва принесена… дело сделано. Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо. Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!»

***Дознаватель складывает газету, передвигает лампу на столе, в свете луча высвечивается фигура Бакуниной.***

**Дознаватель.** Что скажете, Екатерина Михайловна? Согласитесь, превосходные строки написал господин Тургенев.

**Бакунина.** Не совсем вас понимаю, сударь.

**Дознаватель.** Не понимаете. Странно. Наш известный писатель посвятил это памяти Юлии Петровне Вревской.

**Бакунина.** Я знаю, кто такая Вревская.

**Дознаватель.** Баронесса, фрейлина императрицы Марии Александровны.

**Бакунина.** Не утруждайте себя.

**Дознаватель**. Вам неприятно?

**Бакунина.** Не понимаю, зачем вы мне это читали.

**Дознаватель.** А я не понимаю, когда красивая умная, еще молодая женщина, вместо того, чтобы заниматься детьми и семьей, гибнет вдали от дома посреди ужасов войны среди полуживых солдат.

**Бакунина.** Я искренне скорблю о кончине Юлии Петровны. Надеюсь, вы понимаете, что я не причастна к ее смерти. Баронесса умерла от сыпного тифа.

**Дознаватель.** И это все, что вы можете сказать?

**Бакунина.** Что вы хотите от меня? Извольте объяснить, для чего я здесь нахожусь. Это допрос?

**Дознаватель.** Я уточняю обстоятельства смерти баронессы Вревской. Назначено расследование. Вас пригласили дать некоторые пояснения.

**Бакунина.** Юлия Петровна находилась в прифронтовом перевязочном пункте в болгарском селе Обертеник. Мой госпиталь находился совсем в другом месте. Я не могу свидетельствовать о том, чего не видела собственными глазами. Не знаю, чем бы я могла быть вам полезной.

**Дознаватель.** Ваш пример оказался заразительным, Екатерина Михайловна. Десятки молодых девушек и женщин, глядя на вас, отправились на фронт. И многие из них так и остались там. Вы никогда не думали об этом?

**Бакунина.** Для себя я выбрала этот путь сознательно. Мое служение сестрой милосердия в Крестовоздвиженской общине началось почти двадцать пять лет назад в Крымскую войну. За эти годы сотни женщин стали добровольными помощниками на фронтах военных действий. Но я никогда и никого не заставляла следовать своему выбору. Вы не вправе обвинять меня в смерти кого-либо!

**Дознаватель.** Простите, если я не совсем точно выразился. Я хочу понять…

**Бакунина.** Что именно?

**Дознаватель.** Вы приняли решение стать сестрой милосердия в достаточно зрелом возрасте.

**Бакунина.** Да, мне было уже за сорок.

**Дознаватель.** По какой причине? Отчего вы променяли безмятежную сытую жизнь светской дамы на бессонные ночи, лишения, кровь? Чего вам не хватало?

**Бакунина.** Чего мне не хватало. Возможно, это не просто объяснить. Хотя для меня во всем, что происходило со мной, не было никакой интриги. С самых первых дней моей молодости: она прошла так, как проходила жизнь девушек нашего звания, то есть в выездах, занятиях музыкой, рисованием, домашними спектаклями, балами, на которых я, должна признаться, танцевала с удовольствием, и, может быть, вполне заслужила бы от нынешних девиц, посещающих лекции и анатомические театры, название «кисейной барышни». Но тогда мы все были такие, и мое желание поступить в сестры милосердия встретило сильную оппозицию родных и знакомых.

**Дознаватель.** Вот как. Вы пошли против их воли? Неужели мнение семье не имело для вас никакого значения?

**Бакунина.** Никогда не забуду я того вечера, когда мы получили газеты с известием, что французы и англичане высадились в Крыму. Я не могла себе представить, что этот красивый уголок нашего обширного отечества может сделаться театром жестокой войны. С каким нетерпением мы хватались тогда за газеты; и вот, прочитала я, что французские сестры поехали в военные госпитали; потом в английские госпитали поехала мисс Найтингейл с дамами и сестрами. А что ж мы-то? Неужели у нас ничего не будет?

**Дознаватель.** Наши русские барышни всегда были избыточно романтичны и сентиментальны.

**Бакунина.** Да, мои родные всячески мне препятствовали. Они очень старались, чтобы мои письменные просьбы о зачислении в общину сестер милосердия оставались без ответа. Каждый день мне приходилось слушать возражения на мое решение. То приедет Иван Васильевич Капнист, наш родственник, — он был тогда губернатором в Москве, мы с ним были в самых дружеских отношениях, — и начинает он очень серьезно говорить, что приехал уговорить меня не поступать так опрометчиво и не брать на себя таких тяжелых обязанностей. То приедут двоюродные сестры, которые целый вечер болтали о том, как это хорошо, и что надо служить больным. Я молчала, потому что серьезно думала об этом; но как только сказала им, что поеду, то они сразу воспротивились моему решению. Алексей Бакунин, который имел знакомых в Симферополе, привез мне письмо, которое получил оттуда; в нем были описаны все ужасы после альминского сражения. Страшное накопление госпиталей и тифозными, и ранеными. Он меня знал, даже не спорил со мной, а, прочитав письмо, сказал: «Ведь я тебя знаю — тебе теперь еще больше захотелось туда ехать». Но всего больше меня смущал и мучил мой брат, который постоянно говорил, что это вздор, самообольщение, что мы не принесем никакой пользы, а только будем тяжелой и никому не нужной обузой. Мне не сразу удалось попасть в отряд сестер милосердия. Отряд готовился небольшой. Кроме меня должны были ехать семь сестер, три доктора и два фельдшера. Но не все еще было готово, и мы в это время должны были ездить в клинику, во второй сухопутный госпиталь, заниматься там перевязками под руководством доктора Чартораева и дежурить. Госпиталь был в ужасном состоянии.

**Дознаватель.** И вам не было страшно?

**Бакунина.** Наверное, было. Один раз. Незадолго до нашего отъезда на фронт шальной волк забежал в Петербург и сильно искусал одну женщину. Об этом писали в газетах. Женщина эта лежала в клинике отдельно от других. Помню, мы отворили к ней дверь, а она стала нас звать. Вот тогда-то мне стоило большого усилия подойти и поговорить с ней, но я не хотела позволить себе ни малейшей слабости, да и против больной было совестно показать, что я ее боюсь… Когда я вернулась с дежурства, напилась кофе и собиралась отдыхать, приехала великая княгиня Елена Павловна. Она с большим участием принялась меня расспрашивать, как я провела ночь, какое действие это дежурство произвело на меня. Говорила, что я должна подумать; что там будет гораздо хуже и труднее. Не сомневаюсь ли я в себе? Если же я раскаялась, то «не надо упорствовать из-за ложного стыда». Но я ей отвечала, что, напротив, все больше и больше желаю ехать.

**Дознаватель.** В середине января 1855 года вы в составе сестер Крестовоздвиженской общины прибыли в осажденный Севастополь.

**Бакунина.** Да, именно так. Очень было тяжело ходить по Севастополю и встречать отряды, которые идут на батареи. Они шли бойко, весело, но за ними три или четыре человека несли носилки. Сердце так и сожмется, и подумаешь: «Для которого это из них?» Или встретишь четырех человек, которые несут носилки; на иных нет ни движенья, ни звука, а с других раздается еще стон, — и подумаешь: «Право, лучше тому, для которого уже все кончилось! А этому еще сколько придется выдержать и, может быть, для такого же конца!» А с каким терпением наши солдаты переносили свои страдания! Сколько раз я слышала эти слова: «Господь за нас страдал, и мы должны страдать»! Когда мы приехали, Севастополь был еще очень красив. И улица, где мы жили, площадь, где была лавка со всяким товаром и даже много посуды, стекла, и Екатерининская улица, — все было совершенно нетронуто. Я ходила покупать там разные мелочи, и забывала, что мы окружены огненным кольцом неприятельских батарей.

**Дознаватель.** То есть вы не совсем ясно понимали, насколько серьезны были обстоятельства вашего пребывания в Севастополе?

**Бакунина.** Ошибаетесь. Я прекрасно понимала, куда и зачем отправилась. Положа руку на сердце, и перед Богом, и перед людьми твердо могу сказать, что все сестры были истинно полезны, разумеется, по мере сил и способностей своих. Во-первых, денежного интереса не могло и быть, так как сестры Крестовоздвиженской общины были всем обеспечены, но жалованья не получали. Мы находились там не за деньги, а по зову души и сердца. Были между нами и совсем простые и безграмотные, и полувоспитанные, и очень хорошо воспитанные. Я думаю, что были и такие, которые до поступления никогда и не слыхали, кто такие сестры милосердия и чем они должны заниматься. Но все трудились, не жалея ни сил, ни здоровья.

**Дознаватель.** Согласно госпитальным отчетам первые смертные случаи среди сестер милосердия начались сразу по приезду в Севастополь.

**Бакунина.** В этом не было никакого злого умысла с чьей-либо стороны.

**Дознаватель.** Смерть человека может наступить и по обычной халатности. Вы были назначены старшей сестрой. Обустройство быта сестер общины входило в ваши обязанности?

**Бакунина.** О каком быте вы изволите говорить? О чистых накрахмаленных простынях? О воскресных обедах в кругу близких и знакомых? Ежедневно, днем и ночью мы находились в перевязочных и операционных на Николаевской батарее. Представьте себе длинное, огромное строение, которое служило и казармой, и батареей. Во всю длину его тянулась длинная галерея, а скорее длинный коридор; по сторонам — ниши, даже можно назвать почти комнаты. Они были довольно просторные и не отделялись от прохода. В них стояло шесть и восемь кроватей или нары. В этих нишах были большие окошки, но в них не очень было светло. В других нишах стояли пушки. Все строение в два этажа, длинные галереи перебиваются сенями, и лестница вниз. На одном конце — хорошие комнаты, где помещался главный штаб, а на другом конце — пороховой погреб. Все строение казематировано, и нам отвели каземат довольно просторный, отделенный от других, но сырой и темный, так как он был обращен к морю, а маленькое окошечко служило только амбразурой для пушки. Была у нас железная печка, и тут мы и пекли, и варили и устроились, точно цыгане: кастрюли, горшки, все в одной комнате. Все койки были заняты больными с переломами конечностей. У многих была гангрена, дух стоял ужасный, а их стоны были всегда слышны, особенно когда все умолкали и ложились спать. Такой быт вас устраивает?

**Дознаватель.** Решили, значит, пристыдить меня, Екатерина Михайловна? Небось, думаете: крыса штабная, тыловой приживал, который и пороху-то не нюхал. Бывал я там, сударыня, бывал. И порох нюхал, и в окопе сидел по колено в вонючей жиже, и вши меня жрали, и товарищей я хоронил. Это удел солдата.

**Бакунина.** На войне все становятся солдатами. Одни в окопах, другие – в перевязочной. Поначалу к нам относились снисходительно и с недоверием: «ну-ну, милосердные». И солдаты, и офицеры. Но очень скоро все поменялось. Всех поразили беззаветная отвага, спокойствие, толковость и трудолюбие сестер – они, не жалуясь и не боясь заразиться, ухаживали за ранеными и умирающими,– дежурили по несколько суток подряд, ассистировали врачам, стоя по колено в непролазной грязи, делали перевязки под рвущимися бомбами. Не могу вспомнить, в какое время, — в начале ли марта, или позднее, — приехало еще отделение сестер из Петербурга. В один день семь сестер слегли в тифе, а потом так и продолжалось: то две, то одна занемогают, и доктора тоже стали болеть, так что уход за ранеными и за больными сестрами стал очень затруднителен. Каждый день проводили множество ампутаций. Все ранены были ядрами и осколками бомб, и поэтому, кроме ран, был всегда и ушиб. К этому еще — скученность раненых, дурные условия и зараженный воздух. Мы и доктора не ходили за больными, а почти все заразились тифом. Солдаты были утомлены, и часто после операции, при первой перевязке, обнаруживалась гангрена. Резекции шли неудачно, ампутации ног кончались хуже, чем рук. Руки лучше заживали, особенно, когда ампутация была выше локтя, а ноги — наоборот. Если была ампутация бедра, особливо в верхней трети, всегда почти имели печальный исход. Но что было ужасно, это когда одному человеку делали ампутации двух членов зараз. Например, двух ног или отрезали ногу и руку. Но солдаты наши были такие молодцы, что и это выдерживали. Я видывала их у нас на перевязочном пункте, видела их потом в симферопольских и екатеринославских госпиталях. Было также очень тяжело, именно у нас на перевязочном, когда, после того как больной подавал надежды на выздоровление, он вдруг начинает лихорадить, потом пожелтеет, и доктор говорит, что надо его отправить в Гущин дом — для больного это все равно, что смертный приговор. А нечего делать, вполне сознаешь, что нельзя только что, принесенным раненым быть в соприкосновении с таким больным и видеть умирающего. На перевязочном пункте не должны умирать. Помню, принесли офицера, все лицо облито кровью. Я его обмываю, а он достает деньги, чтобы дать солдатам, которые его несли. Так многие делали. Другой ранен в грудь; становишься на колени, чтобы посветить доктору и чтобы узнать, не навылет ли, — подкладываешь руку под спину и отыскиваешь выход пули. Трудно представить себе, сколько тут крови!.. Что за крик, что за шум! просто ад!

**Дознаватель.** Ваши рассказы для салонных барышень Москвы и Петербурга. Я же не настолько впечатлителен, Екатерина Михайловна.

**Бакунина.** А я не стараюсь произвести на вас впечатление. Вы изволили знать обстоятельства моего пребывания в Севастополе. Или мой рассказ вас уже утомил?

**Дознаватель.** Продолжайте.

**Бакунина.** Раненых бывало — то больше, то меньше. Утром операции, перевязка. Не могу не вспомнить ночь с девятнадцатого на двадцатое апреля. Было ужасно. Более ста раненых и шестьдесят операций в одно утро! К нашим постоянным трудам прибавились новые хлопоты: всем ампутированным стали раздавать деньги. У кого нет ноги, тому пятьдесят рублей, у кого нет руки — сорок рублей, а у которых нет двух членов, то семьдесят пять рублей. Наши раненые, разумеется, сразу же просили, нас взять деньги на сохранение. Но, приняв деньги, надо все было записать аккуратно: имя, полк, родину, родных. Суммы собирались большие. Вот у меня в один день собралось до двух тысяч серебром, и как страшно было их беречь; ведь мы не имели ни комодов, ни сундуков. А было еще хлопотливее то, что больной вдруг просит дать ему рубль или даже пятьдесят копеек, а разменять пятидесятирублевую бумажку в Севастополе было очень трудно. Потом еще при отправлении больных в другие госпитали надо отыскать всех, от кого взяла на сбережение деньги, и отдать им. А были хлопоты и другого характера. Узнала, что покойников из всех госпиталей по семь и даже десять дней не хоронят за неимением гробов. Отыскала ответственного унтер-офицера и спрашиваю его: «Есть ли гробы?» Отвечает: «Коли привезли, так есть». Иду сама в этот сарай и нахожу двадцать восемь покойников, лежащих самым безобразным образом. Привожу туда смотрителя и говорю ему, что в мои обязанности старшей сестры входит посещать покойницкие. И что такое положение крайне противно, что они, наконец, доведут меня до того, что я напишу об этом.

**Дознаватель.** Написали?

**Бакунина.** Не понадобилось. После моих слов, гробы сразу же и отыскались.

**Дознаватель (читает бумагу).** «Энергичная, с искрометными речами, в мужицких сапогах бодро шагающая по грязи, борющаяся с нерадивыми или пьяными смотрителями за транспорт для раненых. Ежедневно днем и ночью можно было застать ее ассистирующей на операциях, когда бомбы и ракеты ложились кругом. В ней было такое присутствие духа, мало совместимое с женской натурой.» Так о вас написал доктор Пирогов.

**Бакунина.** Кроме благодарности я ничего более не могу испытывать за такие слова. Да, у меня не было мужа и детей. Можно сказать, что это обстоятельство облегчало мое желание стать сестрой милосердия. Но я вас уверяю, что если бы Господь Бог одарил меня семейными узами, мое стремление быть нужной и полезной, когда мои соотечественники отдают свои жизни, было бы не менее, страстным. Как-то был у меня разговор с генералом Павлом Петровичем Липранди. Он изъявил мне свое удивление, что я пошла в сестры. Я ему отвечала, что если бы я была мужчиной, то давно имела бы честь служить под его начальством; но когда сделали воззвание к женщинам, я не могла не отозваться. И смею вас заверить, сударь, что не было ни одной из сестер, кто бы поехал по принуждению или за почетом и славой. Самым главным для нас было спасение жизней, а если это обстоятельство было уже не в наших силах, то мы думали только об одном, как облегчить страдания тех, кого невозможно спасти. Конечно, в тех ужасных условиях многого было неподобающего. Хорошо помню одну женщину, в которой ничего почти не было женского. Звали ее Прасковья Ивановна; она была какая-то темная личность; много про нее говорили, может быть, и лишнего. Она ходила на четвертый бастион и Малахов курган; солдаты ее очень любили, — она как-то все пришучивала; офицеры надевали на нее разные фольговые и из бумаги вырезанные ордена, давали ей денег. И вот раз она пришла и просит одну сестру купить ей шелковой материи на платье, и когда та ей принесла нежно-лиловый шелк — она очень ему обрадовалась. Но не удалось ей, бедной, пощеголять в этом платье; скоро после этого ей оторвало обе ноги, когда она шла на бастион, и она тут же умерла. Сестра, у которой хранилась ее материя, продала ее, чтобы употребить эти деньги на ее погребение и поминовение.

**Дознаватель.** Облегчая страдания другим, забывая о своих собственных страданиях.

**Бакунина.** Стараясь облегчить страдания другого, мы облегчали свою собственную боль, которую благодаря своей обострённой восприимчивости ощущали, находясь близко к страдающему человеку. Я вступила в сестры милосердия не потому, что страдала в мирной жизни, и хотела тем самым заглушить свою душевную боль. Моя мирная жизнь была счастливой и благополучной. Да, вы, наверняка, все знаете. И меньше всего там, в Севастополе, мы думали о мирной жизни. Помню, как к нам пришло курское ополчение. Они входили с песнями. Некоторых мы зазвали к себе, потчевали вином, водкой. Но скоро и ополченцев стали приносить к нам ранеными, и они как-то совсем падали духом; стоны и крики их были ужасны! Вот флотские — те были терпеливы и тверже, и лучше переносили и раны, и операции. Армейских по терпению и твердости можно считать серединой; но и между ними были очень твердые и терпеливые. Я помню одного, у которого вся рука была раздроблена, а когда я хотела его усадить поспокойнее, он мне отвечал: «Я могу и постоять, а есть раненые в ноги, тем необходимо сидеть». Помню еще одного: он был легко ранен и пришел только перевязаться; но, видя его усталое и утомленное лицо, я стала его уговаривать воспользоваться этим и остаться у нас, чтобы хоть несколько отдохнуть. «Нет, этого нельзя, — отвечал он мне, — уж нас, старых солдат, мало осталось, а молодые могут и оторопеть.» И этот безвестный и скромный герой, твердо исполняя свой долг, сейчас же ушел на бастион. Так, и наши сестры исполняли свой долг, оставаясь такими же скромными и еще более безвестными героями. **Дознаватель.** В некоторых донесениях указывалось, что иногда между сестрами возникали недопонимание и даже конфликты.

**Бакунина.** Я не считаю нужным говорить об этом. В каждой семье бывают размолвки. Но это незначительные ссоры, обиды и не более. В любую погоду и при любых условиях наши сестры дежурили, и, несмотря на свое утомление, они не засыпали ни на минуту, и все это под мокрыми насквозь палатками. И все сверхчеловеческие усилия наши женщины переносили без малейшего ропота, со спокойным самоотвержением и покорностью. Случалось другое. Сильные и продолжительные бомбардировки приводили к расстройству нервов, что порождало глупые абсурдные сплетни. Меня, например, приходили предостерегать, что одна сестра из маленького окошка на море подает разные сигналы неприятельским кораблям, или, что другая сестра, купаясь в море, говорила, что она уплывет к французам! Что писали и говорили другие в это время, я не знаю, но, думаю, было много сплетен и разных пустяков. Жаль, если все эти письма хранятся в архиве общины; их не стоит беречь. Надо сохранять только то, что касается чести и той великой помощи, которую, благодаря неутомимым попечениям и живому и благотворному участию великой княгини Елены Павловны, принесла община в это грустное время. Одно могу сказать уверенно: многие сплетни рождались не по злому умыслу, а вследствие, того ужаса, который творился вокруг. Не могу забыть начало мая, особенно ужасную ночь с десятого на одиннадцатое. С понедельника на вторник наши выходили рыть новые траншеи, — кажется, между пятым и шестым бастионом, — и устраивать батареи под прикрытием войска. Мы были наготове всю ночь, но ночь прошла благополучно, и во вторник днем все было тихо и спокойно. Вечером опять ждем и все необходимое готовим. Тюфяки уже без кроватей, лежат на полу в несколько рядов; несколько столиков с бумагой, а на одном — примочки, груды корпии, бинты, компрессы, нарезанные стеариновые свечи. В одном углу большой самовар, который кипит и должен кипеть во всю ночь, и два столика с чашками и чайниками. В другом углу стол с водкой, вином, кислым питьем, стаканами и рюмками. Все это еще в полумраке, в какой-то странной тишине, как перед грозой. В зале пятнадцать, а может быть, и более докторов; иные сидят в операционной комнате, другие попарно ходят по залу. Офицер и смотритель торопливым шагом входят и выходят, распоряжаясь, чтобы было больше фельдшеров, больше рабочих. А когда посмотришь в дверь или в ряд высоких окон по обеим сторонам нашей залы, то ночь такая светлая, тихая, тонкий серп луны блестит так ярко, звезды такие ясные!.. Но вот в десятом часу точно молния блеснула, и раздался треск, даже стекла задребезжали в рамах. И блестит все чаще и чаще… Нельзя расслышать отдельных ударов, но все сливается в один гул. Это пальба на пятом и шестом бастионах, там, где работают новые батареи. В город бомбы не долетали. А мы сидим и слушаем все в том же полумраке. Так проходит около часа. А потом началось! Вносят носилки, другие, третьи. Свечи зажглись. Люди забегали, засуетились, и скоро вся эта большая зала наполнилась народом, весь пол покрылся ранеными; везде, где только можно сесть, сидят те, которые притащились кое-как сами. Что за крик, что за шум! просто ад! Даже пальба не слышна за этим гамом и стонами. Один кричит без слов, другой: «Ратуйте, братцы, ратуйте!» Один, увидя, штоф водки, с каким-то отчаянием кричит: «Будь мать родная, дай водки!» Во всех углах слышны возгласы к докторам, которые осматривают раны: «Помилуйте, ваше благородие, не мучьте!..» И я сама, насилу пробиралась между носилок. Много принесли офицеров. Вся операционная комната наполнена ранеными, но теперь совершенно не до операции. Дай Бог только всех перевязать. И мы всех перевязываем, перевязываем, перевязываем… Наконец рассвело. Пальба прекратилась. При доме Собрания есть маленький садик. Представьте себе, — и там лежали раненые. Я беру водки и бегу туда. Там, при чудном солнечном восходе из-за горы над бухтой, при веселом чириканье птичек, под белыми акациями в полном цвету лежит человек до тридцати тяжело раненых и умирающих. Какая противоположность с этим ясным весенним утром! Я позвала двух севастопольских обывателей, которые всю ночь с большим усердием носили раненых, перенести и этих. Говорили, что в эту страшную ночь выбыло из строя три тысячи человек. Через наши руки прошло более двух тысяч и пятьдесят раненых офицеров. На другой день начались операции и продолжались во весь день до вечера, только с небольшим перерывом для отдыха и обеда. На третий день пальба была меньше и раненых тоже; мы думали, что можно отдохнуть, но вдруг двери отворились и пошли носилки за носилками; и это оказались несчастные, которые были ранены еще в ту ужасную ночь, и так и пролежали там почти двое суток. Страшные раны, оторванные ноги, несчастные, которые вместо рук поднимали обнаженные кости, проломанные головы — все эти ужасы только с разными переменами повторялись изо дня в день. В такой обстановке трудно было сохранять разум.

**Дознаватель.** Отчего вы тогда не уехали? Неужели не было возможности?

**Бакунина.** Вы сказали, что были на фронте.

**Дознаватель.** Был.

**Бакунина.** Могли бы вы вот так просто оставить свою позицию, своих товарищей и уйти?

**Дознаватель.** Простите, Екатерина Михайловна, но это неуместное сравнение.

**Бакунина.** Неуместное? Тогда почему вы позволяете себе задавать подобный вопрос. Уйти солдату с поле боя неуместно. Его сразу обвинять в дезертирстве. А уйти сестре, не оказав помощи раненому или умирающему? Это, по-вашему, уместно! Ни одной из наших сестер подобное даже не приходило в голову. Для нас это тоже было бы дезертирством. Бедный Севастополь! Сколько крови пролилось в нем и за него! Среди этих бесконечных черных дней ясно помню, когда французам удалось попасть в Нахимова. Сколько, сколько времени они в него метили! Он так неосторожно разъезжал по всем бастионам. Никто не носил эполет, а он постоянно их носил, и когда ему говорили: «Тут опасно, отойдите», он всегда отвечал: «Вы знаете-с, я ничего-с не боюсь». После своей несчастной раны в голову Павел Степанович прожил полторы суток, не приходил в себя и не говорил. Хоронили его в пятницу после обеда. На улице стояли войска и пушки, множество офицеров морских и армейских. Во второй комнате стоял гроб, обитый золотой парчой, кругом много подушек с орденами, в головах сгруппированы три адмиральских флага, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы. Священник, в полном облачении, читал Евангелие. По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. С тех пор я не видала ни одного моряка, который бы, не сказал, что радостно бы лег за него. Никогда не буду я в силах передать этого глубоко грустного впечатления. Мы были на возвышенности, с которой виден весь Севастополь, бухта с нашими грустно расснащенными кораблями, море с грозным и многочисленным флотом наших врагов, горы, покрытые нашими батонами, на которых Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словами. Дальше — горы с неприятельскими батареями, с которых так беспощадно громят Севастополь и с которых и теперь они могли бы стрелять прямо в похоронную процессию. Но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела. И вот над всем этим, и особливо над морем, мрачные, тяжелые тучи: только кое-где вверху блистало светлое облачко. Заунывная музыка, перезвон колоколов, печально-торжественное пение; очень много священников, генералов, офицеров, на всех лицах грустное выражение. Так хоронили моряки своего синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника! Невозможно представить того тяжелого чувства, с которым я смотрела на это, и как я наплакалась! Говорили, что Нахимов все жалованье свое и все, что мог, отдавал, чтобы помогать морякам. Неужели все это можно было предать, бросить, уехать! Каждый раз, когда я перевязывала раненного или помогала при операциях, я знала, что спасаю для кого-то отца, сына, мужа, брата. Это придавало мне не только физических сил, но укрепляло мою веру в правильности выбранного пути. Невозможно передать словами, как рвалось мое сердце, глядя на измученных и изувеченных солдат. Перевязываешь его, а он говорить даже не может, только стонет и смотрит на тебя. А в глазах просьба: «Помоги мне, помоги…» Смотришь на такого солдатика, не моргая, боишься оторвать от него взгляд. Пока смотришь на него, он с тобой, он здесь, сопротивляется смерти, цепляется за жизнь. Стоит только отвернуться или моргнуть…затихнет и уже навсегда. Можете не верить, но мы даже взглядом лечили.

**Дознаватель.** А ведь я помню ваши глаза, Екатерина Михайловна. Все время их вспоминал.

**Бакунина.** Что?

**Дознаватель.** Долгие годы мечтал вас встретить. Поклониться. Я ведь тогда думал, что передо мной глаза ангела. Мол, я уже умер, а это ангел за мной прилетел. И оторваться не мог от ваших глаз, уж больно они красивые и добрые. Все смотрел и смотрел, так и выдюжил.

**Бакунина.** Простите, я не помню вас…

**Дознаватель.** Полноте, Екатерина Михайловна, Господь с вами! Разве всех можно было упомнить. В той дикой мясорубке здоровенные мужики лишались рассудка и физических сил, а вы, хрупкие и нежные не дрогнули. Вы не сердитесь, что я тут вас вопросами извожу. Служба такая. Я когда из госпиталя вышел, на фронт уже не вернулся. Признали негодным. Приятели вот помогли службу найти. Мне и самому не в радость тут вас тревожить. Не привык я с людьми так разговаривать. А с вами и особенно не могу. По мне лучше в атаку бежать, чем допросы устраивать.

**Бакунина.** Вы, голубчик, не волнуйтесь. Мне скрывать нечего. Понимаю, что служба, что требуют.

**Дознаватель.** Мне только все записать. И я тогда спокоен буду. Расследование это… Жалко баронессу Юлию Петровну, всех жалко, и солдат, и сестричек, и простых людей. Война она такая, не спрашивает, кого оставить в живых, а кого и прибрать быстрее. Я же понимаю, что вы никакого касания к ее смерти не имеете. Но вот служба, будь она не ладна… Как я счастлив, что вижу вас! И глаза у вас все те же, не изменились. От одного вашего взгляда жить хочется.

**Бакунина.** Как вас зовут?

**Дознаватель.** Александр Демьянович Залогин.

**Бакунина.** Давно было, не вспомню.

**Дознаватель.** Не стоит трудов, Екатерина Михайловна. Главное, жив! А там-то все говорили про меня «слабенький».

**Бакунина.** Вам повезло.

**Дознаватель.** Еще как!

**Бакунина.** Вы не поняли. Был у нас генеральский приказ, о котором, и вспоминать ужасно. «Слабых», то есть умирающих, было приказано отправлять из Севастополя. На возражение докторов против этого генеральского, но вовсе негуманного приказа отправлять «слабых», Его Превосходительство повторял одно: «Отправляйте». На наши возражения, что такие раненые умрут в дороге, отвечал: «Ну и умрут, так все равно». Но каково умирающему, когда с кровати его перенесут на тряский фургон и везут по каменистой дороге, и это делается и говорится так равнодушно, что силы нет. Тяжело, противно, отвратительно. Доктора, отстаивающие слабых и умирающих, против генерала, вынуждены были исполнять этот противный им приказ. А было у нас и такое. Офицер, который распоряжался размещением больных на койки или на полу, никак не хотел положить слабого больного на койку, говоря, что на них велено класть только раненых. Напрасно я ему говорила, что у нас есть раненые совсем здоровые, а больные гораздо слабее, а один и очень слабый. Но он преспокойно отвечал:

— Генерал так приказал.

Я отвернулась от него и не удержалась, чтобы громко не сказать:

— Приказание глупое, да и исполнение такое же! — и пошла, - Постарайтесь, хоть на полу уложить покойнее моего больного. Так что, вам, Александр Демьянович, необычайно повезло.

**Дознаватель.** С вашей помощью.

**Бакунина.** Для нас всегда было за счастье, когда наши усилия имели благополучный исход. Как-то нам внесли одни за другими тринадцать носилок с сильно израненными. Но что за странное было их состояние! Они все были без памяти, как-то ползали по полу, а руками делали такие жесты, как бы плавали. Это было последствие взрыва мины. Они подошли близко к неприятельской мине, а те свою и взорвали, и вот от этого они и получили такое страшное сотрясение мозга. Их обливали холодной водой, потом положили на койки и все прикладывали холодные компрессы; только с половины ночи они начали приходить в себя, но не все вдруг, а то один, то другой; и как-то странно они опоминались, точно в мелодраме: «Где я? Что со мной? Как я сюда попал?» Я всю ночь проходила от одного к другому. К утру десятеро совсем опомнились, другие пришли в себя только через сутки, — и все они скоро и совсем поправились. Все доктора и сестры радовались этому событию. Но все это омрачилось событиями конца августа 1855 года. С двадцать четвертого августа началась сильная бомбардировка бастионов; в город к нам не стреляли, а прежде — на площадь перед нашими окнами, где расположен полк, — так часто попадали, что мне полковник сказал, что у него тут выбыло тридцать человек. Я сама видела, стоя на галерее, что когда летит бомба, солдаты со смехом разбегаются, точно играют в мячик, а потом с безрассудным любопытством сбегаются на нее, прежде чем она лопнет. Но, слава Богу, я не видала ни одного несчастья. Как-то бомба упала на галерею около окошка первого операционного стола, пробила свод, прошла в лавку и там лопнула. Я за минуту до этого ушла за водкой. В операционном каземате только отбило штукатурку, разбило окно, рамы, и была страшная пыль. Мы от души благодарили Бога, что в это время не было операции, а то нельзя ручаться, — нас всех поразило бы и разбросало, да и оперированному мог быть причинен большой вред. В лавке все было переломано: шкафы, прилавки разбиты в щепки, и мальчик приказчик так был ранен, что пришлось отнять стопу; но он, слава Богу, выздоровел. Два дня подряд раненых с бастионов приносили очень много, до тысячи человек в день, и бывало на трех столах до ста операций за день. С этих дней уже не только дежурные, а все сестры — за делом; теперь было не до отдыха, и сестры оказались все очень усердны и деятельны. Два вечера подряд бухта и Севастополь были освещены горевшими в бухте кораблями. Первым сгорел самый большой транспорт, на котором находились смола и сало, — он горел очень ярко; а на другой день сгорел фрегат «Коварный». Живописно бегал огонь по снастям, — как будто это была иллюминация. И так последние дни своего существования Севастополь был ярко освещен горевшими кораблями, остатками нашего несчастного потопленного Черноморского флота!

**Дознаватель.** Слава Богу, что вам удалось выбраться из города.

**Бакунина.** Вспоминать все это трудно. Двадцать шестого августа утром, та же пальба, так же много раненых. Ветер ужасный, мост так и качается, волны заливают его, но что удивительно — не только люди, но и лошади идут спокойно, а мост под ними извивается змеей! Вдруг блеснуло в окошки; за блеском — страшный гул, треск, шум; рамы, стекла — все летит! Свечи гаснут, служители бегут. Мы с сестрой прижались к стене. Промелькнула у меня мысль, что если это пороховой погреб, то отчего же мы не взлетели на воздух? Проходит минута, другая… все тихо и темно. Мы зажгли свечи и пошли в палаты. Из раненых, слава Богу, никто не ушиблен, но на кроватях — рамы, стекла, разные обломки. Все рамы и перегородки попадали. В другом каземате у сестер страшный крик. Оказалось, они все ранены. Порезаны стеклами и страшно перепуганы, так как многие уже легли и даже спали. И другие жительницы батареи тоже кричат и бегут; сбегаются и доктора. Узнаем, что везли на баркасе до 140 пудов пороху, и у самой Графской пристани попала в него ракета и взорвала баркас. Как досадно, как горько! Иду наверх. Сестры в тревоге; у иных хоть дорожные мешки в руках, а другие ничего и не берут с собой. Говорю им, что мне необходимо собраться; у меня есть офицерские и солдатские вещи; — хорошо еще, что рано утром я успела иное отдать; у меня ключ от аптеки, его надо передать доктору. Слышу в ответ, что через полчаса на площади, может быть, уже будет неприятель. Отвечаю, что мне невозможно все вдруг так бросить, но даю честное слово, что я за ними последую, может быть и догоню их. Все сестры покинули Севастополь. Я осталась одна. Тогда я принялась наскоро все убирать и брать с собой то, что необходимо. Показывая и на свои, и на сестрины мешки и чемоданы, которые нужно было взять, прошу у смотрителя еще солдата; а потом, вспомнив, что от большого ветра мост в воде, надеваю свои мужские сапоги и, отдав вещи солдатам, иду отыскивать доктора. Сдав ему шелк для лигатур и ключ от аптеки, я оставляю с сокрушенным сердцем нашу Николаевскую батарею, нашу Южную сторону, наш бедный Севастополь! От сильного ветра мост сильно качается, и я должна была взять за руку нашего служителя-солдата, чтобы перейти бухту под усиленной пальбой.

**Дознаватель.** Трудно было выжить в таком аду. Вы, Екатерина Михайловна, стали для многих примером терпения и неустанного труда. Знаете, как мы называли сестер? «Ангелы в белых платочках»

**Бакунина.** Помогла я вам в расследовании?

**Дознаватель.** Благодарю вас, сударыня.

**Бакунина.** Я бы очень желала, чтобы кто-нибудь, пользуясь всеми письмами и официальными бумагами и обращая внимание не на сплетни, а на действия, описал все труды Крестовоздвиженской общины во всех местах и городах, где работали тогда сестры. А то жаль, что нет именно полного отчета о деятельности общины с первой же минуты ее создания неустанными и столь душевными заботами великой княгини Елены Павловны. Тогда это было совершенно новое дело. Как я благодарила Господа за то, что могла хоть не лепту, а миллионную часть лепты вложить в великое общее дело! Как я благодарила Бога за свои силы, за свое здоровье! Я надеюсь, что все наши поступки, дела, все обстоятельства нашего служения будут оценивать только одной мыслью: «С именем Бога – все для людей». А большего мне и не нужно. ***(Выходит из комнаты)***

**Дознаватель (берет со стола газету и читает).**

Сестры милосердия, ангелы земные,

Добрые и кроткие, грустные немного,

Вы, бальзам пролившие на сердца больные,

Вы, подруги светлые, данные от Бога.

Вам – благословение, сестры душ усталых,

Розаны расцветные, там, на поле битвы,

И в крестов сиянии, ярко-ярко алых,

Тихо принимавшие раненых молитвы...

***Тихо гаснет свет. Слышно бормотание. Звук колокола.***

Автор: Шор (Синина) Наталья Яковлевна,

8-961-043-56-76

[benefis-shor@yandex.ru](mailto:benefis-shor@yandex.ru)